

АЛЕКСАНДР БОБРОВ

ВЕЧНО СТАРШИЙ БРАТ

27 января 1944 года мы отмечаем 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от блокады. В тот вечер в измученном и мрачном городе был дан праздничный салют – единственное исключение в ходе Великой Отечественной войны, прочие салюты производились в Москве. Отсвет этих залпов не тает в небе над Невой, в людской памяти и в моём сердце. Защищая Ленинград, наши войска потеряли 7600 самолётов – в воздушных боях, технических авариях (их ремонтировали падавшие от голода люди), в наземных схватках. Одна из этих машин – бомбардировщик СБ-2, в составе экипажа которого воевал и погиб 11 июля 1942 года стрелок-радист Николай Бобров, – совершила огненный таран в урочище Мустолово.

Подвиг защитников города был высоко оценён Родиной: свыше 350 тысяч солдат, офицеров и генералов Ленинградского фронта награждены орденами и медалями, 226 из них присвоено звание Героя Советского Союза, в том числе – капитану А. Алёшину, лейтенанту В. Гончаруку, ст. сержанту Н. Боброву. По настойчивому предложению поэта-фронтовика Михаила Дудина началось сооружение Зелёного пояса Славы, 200-километровым кольцом окружившего Ленинград по линии обороны в 1941–1944 годах. В этот мемориальный ансамбль, не имеющий мировых аналогов, входит свыше 80 памятных знаков. Один из них – памятник героическому экипажу близ станции Лемболово на Карельском перешейке. Справа – голова в шлемофоне самого младшего члена экипажа, Коли Боброва.

НЕ ЗАЧЕРКНЁМ!

Давно, ещё в армейской юности, в ночной караульный час я прочитал и выписал загадочные слова Александра Блока: **“Родина – это огромное, родное дышащее существо, подобное человеку, но бесконечно более уютное и беззащитное, чем отдельный человек”**. Тогда, в середине 60-х, держава и мы, её дети, гордились могуществом нашей Родины, а тут – “уютное существо”, да ещё “более беззащитное, чем отдельный человек”, чем, выходит, даже я, солдат и начинающий поэт? Но слова эти заворожили... Шли годы, удлинялись и усложнялись дороги по России, по её историческим и духовным пространствам, мы пережили возрождение державы – достижения в космосе, воспрянувшая литература, бум “Золотого кольца”, интереса к прошлому, потом – времена застоя и перестройки, предательскую смену политического строя и криминальную – экономической формации. Самое страшное довелось испытать – гражданскую войну в других формах, без конных атак, но с расстрелом Верховного Совета в центре Москвы – какой там бескровный штурм Зимнего! На этом мучительном пути мне, увы, всё глубже открывался глубинный смысл пророческой блоковской фразы. Пусть каждый толкует её сам на основании личного духовного опыта.

Я — понимаю так. Мы можем окинуть мысленным взором всю огромную, разорванную страну, абстрактно представить или реально постичь её гигантские размеры и не до конца растраченную мощь, мы вправе радоваться или ужасаться по поводу каких-то грандиозных событий, но согласимся, что нет ничего роднее того, что произошло лично с нами, пусть и в масштабах жизни страны, что приняла или выстрадала наша душа в кипении общей жизни. Собственно, вот эта взаимосвязь — интимного и общего, выстраданного и очерпнутого — является (для русского человека особенно) уютным ощущением родины в личностном восприятии. Но речь — не о первой части загадочной фразы, а об её парадоксальной концовке — беспомощности родины, большей, чем беспомощность отдельного человека. С годами я осознал и её. Отдельного человека можно унижить, оскорбить, даже физически уничтожить, но в нём до конца сохраняется “неоскорбляемая часть души” (выражение того же Блока), за ним всегда остаётся нравственный и волевой выбор, а над ним, даже атеистом, — есть провидение. Хемингуэй повторыл, что человека можно убить, но победить его нельзя. Так вот, Родина в блоковском понимании — более уязвима и беззащитна. На личное оскорбление ты можешь дать отпор, вплоть до физического, иным способом продемонстрировать понимание оскорблённой чести. Но когда оскорбляют твой личный, заветный, нежный и беспомощный образ Родины как родного дышащего существа — чем ты ответишь? Как поступишь? Будешь в ответ оскорблять, кричать на митинге, вступишь в ряды, как нынче пугают, экстремистских организаций?

У литератора хоть есть публичное слово, а любому другому — прокламации разбрасывать или изливать желчь в соцсетях? Вот и получается, что оскорблённая бесцеремонной властью, своими и чужими клеветниками, Родина оказывается беззащитной, а лично каждый и огромное сообщество людей — уязвлёнными в самом дорогом, пусть порой не до конца осознаваемом, сердцевинном чувстве. Кто бы как ни оценивал новейшую историю России, следует признать, что миллионы наших соотечественников, особенно люди старшего поколения, испытали это чувство унижения и беспомощности: тот образ, который радостно и мучительно, в силу воспитания, личных порывов и под давлением обстоятельств складывался в их душах десятилетиями, рушился, публично оскорблялся, корыстно искажался — глумливо, сознательно, всей мощью СМИ — во имя наживы и сиюминутных политических целей. Помню, как в разгар перестройки друг Михаила Горбачёва и активный деятель, потом окончательно сникший на политическом поприще — народный артист СССР Михаил Ульянов, — говорил во “Взгляде” с убедительной интонацией героя — мастера уговаривать из фильма “Председатель”: “Стариков я понимаю, они свою жизнь зачеркнуть не могут...”. Вот — ключевой глагол — зачеркнуть. Но зачем уничтожать, избывать своё прошлое, свою суть? Недаром же Чехов сказал: “Русский человек не живёт, а вспоминает”. В сохранении этой памяти огромную роль играют заветные предания и страницы семейной славы. Её воплощением является для меня мой старший брат — сталинский сокол, Герой Советского Союза Николай Бобров. Он погиб за два года до моего рождения, но остался вечно старшим братом — образцом и главным судьёй.

“ОБНИМИ СВОЕГО ВОЯКУ”

Невероятный, казалось, для России случай произошёл на заседании Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский в Москве: молодой депутат от партии “Яблоко” Владимир Калинин со всей либеральной прямотой выступил против проведения в округе в 2018 году акций, посвящённых Дню Победы и годовщине контрнаступления в битве под Москвой, назвав это “пустым мероприятием”. Показухой... Так что, с одной стороны, президент России Владимир Путин загодя подписал Указ о всенародном праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а с другой стороны, выросло и даже делегировало во власть циничных представителей то поколение, в котором память и гордость за подвиг предков размыты неумным политиканством, антисоветизмом и русофобией не только зарубежных, но и доморощенных СМИ. Мы должны этому противостоять!

Неожиданно в году 70-летия Победы я получил святой и рвущий сердце подарок. На 94-м году жизни школьная и единственная любовь моего старшего брата — Ирина Владимировна Старичкова — решила отдать мне 88 личных,

чистых (интимных — рука не поднимается вывести!) писем юного курсанта, стрелка-радиста, лётчика, Героя Советского Союза Николая Боброва. Тоже ведь символическое совпадение в самой цифре — 88: мы, радисты, знаем, что на языке эфира это сочетание в конце радиограммы значит: целую! Когда к 65-летию Победы я беседовал с ней, готовя очерк “Любимая брата” для “Советской России”, Ирина Владимировна передала мне прядь Колиных русских волос, мамину папиросницу, которую он подарил ей перед отправкой в армию, и только процитировала несколько строк. Но не так давно передала в школе имени Николая Боброва пачку писем со словами: “Хотела завещать, чтоб письма в гроб со мной положили (от меня только квартира родственникам нужна), но решила Вам отдать. Может, пригодятся...”.

Пригодились, Ирина Владимировна! Сразу же ко Дню скорби и памяти 22 июня, к годовщине начала войны, разбившей десятки миллионов молодых судеб, я опубликовал в “Советской России” несколько отрывков из писем, которые не надо долго объяснять. Повторяю их в этом очерке с добавлениями... Напомню: пишущему и адресату — по 20 лет! В конце 1940-го брат закончил школу стрелков-радистов на окраине Старой Руссы, до здания которой (теперь там бирюзовый ДК) я недавно ходил хмурой весной мимо памятника Фёдору Достоевскому. Коля был определён в экипаж и узнал, что служить придётся ещё четыре года (командование понимало, что никакой демобилизации в ближайшее время не будет). Итак, несколько отрывков, полных юношеского ожидания и взрослой готовности принять удары судьбы.

Письмо 73

“Русса Старая

8.01-41

Любимая! Каков новогодний подарок? 4 года! Я знал об этом ещё 28 декабря, но не хотел превращать встречу 41-го года в тризну по нашим несчастным судьбам. Что делать, дорогая, надо признать своё бессилие. И я признал. Чтение приказа (28 дек.), само существо его не вызвало во мне бурных реакций, а лишь наполнило апатией... В таком тумане, на красноармейской соломе и был встречен Новый год. Что он сулит? Единственным утешением нужно считать предполагаемый ежегодный месячный отпуск. Словом, из 12 месяцев один буду проводить в Москве. Облегчение весьма существенное. А дни бегут, и не за горами первая встреча после длительной разлуки. Какой она будет?... Только, славная моя, шевелюры отрастить не имею права (по уставу не положено)”.

Письмо 74, в новом конверте с надписью рукой Ирины Владимировны: “Конверт истлел”.

“2.02-41

Любимая! Поздравляю с 20-й годовщиной. Странно, но для меня это пустой звук — 20. Мне ты представляешься такой, какой была год и два назад, какой я полюбил тебя и люблю тебя далеко за 3 года... Дарить что-либо я не могу, но постараюсь приложить все усилия, лишь бы попасть в Москву на Первомайский парад. Представь себе, что 15-18 апреля я смогу быть рядом с тобой. Тогда только не сердись... Боюсь мечтать об этом — а вдруг снова судьба посмеётся над нами?

Изредка таскаюсь в ДКА. Сейчас учу арию Руслана, но вряд ли она получится: высок конец. Вообще мой репертуар не блещет разнообразием: Галицкий “Сомнение”, ария Мельника, “Эй, ухнем”, новгородская русск. нар. песня. Собираюсь учить Бородина “Для берегов отчизны дальней”, арию Кончака почти окончил, впереди ещё “Клевета” и серенада Мефистофеля. Дело только за нотами, достану и разучу. Это занятие до некоторой степени облегчает существование, пою для себя, хотя и (изредка) перед публикой”.

У Николая был очень хороший голос, его заметили ещё на смотре студенческой самодеятельности и даже предложили готовиться к стажировке в Большом театре, поступать учиться вокалу. Вообще, если отстраниться от накачивающихся чувств и раздумий, поражает в этих письмах, порой набросанных второпях между занятиями и вылетами, абсолютная грамотность — до запятой, а ведь брат поступил учиться на химика, а не филолога. Вот какое давали образование в школе!

“19.02–41

Дорогая Иринка! Ещё каких-нибудь 2 месяца, и то, о чём так долго приходилось мечтать, осуществится. Заранее схожу с ума. Какой будет наша встреча? Сколько времени удастся провести с тобой? Твёрдо знаю лишь, как проведём... Боюсь много об этом писать. Вдруг! Да нет, чепуха. Всё осуществится. Будем ждать. А чтобы не было тебе особенно скучно, посылаю виды непревзойдённого Старо-Русского курорта. Знай, что такое Старая Русса и какими богатствами она обладает. Скажу только – несмотря на скромность снимков, трудно поверить, что изображена здешняя “морилка”: больно уж пышно!”

Когда я впервые писал о Старой Руссе, о её старом и пышном курорте, то ещё не знал, как тесно связаны они с судьбой брата. Почему-то к родителям письма оттуда не сохранились, или цензура уже не давала указывать место написания....

Письмо 79

“Русса 4.03–41

Любимая! Время идёт, май ближе, душа оттаивает вместе со снегом. До сих пор не могу поверить, что скоро увижу тебя, Москву! Настроение повышается: сама подумай, в этом году более месяца проведу в Москве, а сколько впереди счастливых часов, дней, посвящённых мною тебе и нам – нашей любви... Ириночка, дорогая, ты почувствуешь, что значит настоящая любовь, безграничная и всеильная... Словом, на днях пришло разъяснение, говорящее о ежегодном отпуске для стрелков-радивов. До сих пор счастье, которое наше старались утопить в туманах, покрыть их мраком неопределённости”.

Письмо 80-е Ирина Владимировна мне не передала, однако по письмам родителям, брату и сестре я знаю, что в параде 1 Мая их экипаж успешно принял участие, но не было ни тренировочного Тушинского аэродрома, ни краткого отпуска москвичей по домам – в небе пахло грозой. После парадного пролёта над Красной площадью и разворота над любимым Замоскворечьем их направили на дозаправку и дальше – на свой базовый аэродром. Наверное, вихрь переживаний и вошёл в то 80-е письмо, а может, были другие причины, по которым его не оказалось в пачке писем. Кстати, всякий раз, попадая на берега озера Сенеж в блоковских местах Подмосковья, вспоминаю, что он писал о нём после того майского парада 1941 года. Увидел сверкающий Себеж, вспомнил здешние рыбалки с отцом, сглотнул слезы и скупно написал об этом в одном из писем, хранящихся у меня... Недавно снова смотрел на взлохмаченное ветром озеро, отражавшее многие взоры, в том числе и восхищённые взгляды давно погибшего брата и ушедшего отца, и думал о том, что, может быть, только ощущение вечности природы и бренности каждого из нас помогает сохранить и рукотворную, вещественную память. Трескаются стены и мемориальные доски, ветшает бумага писем, написанных часто карандашом, но всё так же синее Себеж и Лемболовское озеро, на берегу которого стоит памятник брату. Он видел его последним – июльское, синее – в смертельном пике, перед огненным тараном.

Но вот **письмо 81**, ветхое, неровно написанное в роковой день карандашом, которое передаёт состояние брата, обычно рассудительного даже в письмах любимой (упорно призывал её, например, не губить талант художницы, не выбирать прагматично благополучную специальность!), но тут молодой коммунист впервые вдруг вспомнил Господа. Цитировать-то страшно, как представишь, что могут написать в комментариях некоторые наши читатели...

“22.06–41, пока ещё недалеко от Старой Руссы. Лагерь.

Любимая! Сама понимаешь, как трудно мне писать тебе сейчас – что могу я сказать утешительного, чем могу порадовать? Как видишь, нам не особенно везёт! Остаётся только надеяться, надеяться и ещё раз надеяться – на что-то... Последний месяц чувствовало ли твоё сердце, что в конце мая я проезжал через Москву, был в полной уверенности, что проведу с тобой часа 3–4. Однако поезд из Астрахани опоздал на целых пять часов, прибыл в 1 час ночи, а последний на Ленинград отходил в 2. Как сумасшедшие мчались с вокзала на вокзал. На “Б”, мимо тебя, по Бауманской улице, мимо III Интернационала. Стоит ли говорить о моём состоянии?!

После командировки всё время собирался в отпуск – тянули изо дня на день: “Через недельку” – “Скоро” – “На днях”. Был уверен, что увижу, наконец,

тебя, проведу целый месяц в Москве, рядом с тобой, родными, знакомыми... Ещё 5–10 дней, и я был бы дома. И вот результат! Сейчас с минуты на минуту ожидаем очередного (нового) боевого вылета. Что-то будет? Ну, да ладно. Чепуха! Как-нибудь потягаемся, авось будем жить – Господь милостив. Положимся на него, судьбе уже далее доверять преступно и глупо! Обними уже своего вояку, пожелай ему счастья!.. Особенно не волнуйся, верь в меня, в нашу любовь, которая по-прежнему сильна и молода. Жизнь у нас ещё впереди. Нам грех не прожить её по-настоящему. Целую много и крепко, как никогда. Твой горячо любящий Николай”.

Потом был переезд-перелёт из обречённой Старой Руссы на окраину осаждённого Ленинграда, в аэропорт Сосновка (теперь парк с захоронениями и памятником – в черте мегаполиса), боевые вылеты и подвиги. Но краткие письма Ирине, насильно разлучённым родителям даже самой трудной боевой поры дышат тем же теплом, спокойствием и любовью. В них появляется образ России, защищаемой Родины, которую он всегда пишет с большой буквы.

СОКОЛ И ЯСТРЕБ

Загадочное и символическое для меня совпадение: в один день – 19 апреля родился мой старший брат – сталинский сокол Николай Бобров – и немецкий лётчик-истребитель – гитлеровский ястреб Эрих Хартманн.

Только Коля родился в 1921 году, а Эрих на год позже. Но в один день! Усилиями геббельсовской пропаганды, западной мемуаристики и наших либеральных издателей и журналистов немецкий лётчик – действительно ас воздуха – считается небожителем, самым успешным пилотом-истребителем за всю историю авиации. Можно прочесть в бесчисленных источниках, что в ходе Второй мировой войны (не всей) он совершил 1404 боевых вылета, одержав 352 воздушные победы в 802 воздушных боях. За небольшой рост и моложавый вид получил прозвище Bubi – малыш. Будучи в довоенное время пилотом планера, Хартманн вступил в ряды люфтваффе в 1940 году, а в 1942 году, когда уже героически погиб мой старший брат, лётчик-бомбардировщик, окончил курсы подготовки пилотов. Вскоре он был направлен в 52-ю истребительную эскадру на Восточный фронт, где попал под опеку опытных пилотов-истребителей люфтваффе, воевал на юго-западном направлении, совершил более тысячи вылетов после того, как на 67-м боевом вылете в небе над Карельском перешейке был подбит СБ-2 моего брата... И, конечно, в небе, в реальных полыхавших событиях нигде не мог пересечься с Бобровым, защищавшим Ленинград на северо-западном направлении. Только в моей памяти и этом очерке.

Не стану сейчас продолжать идейные и фактические споры, опровергать восторженные материалы на “Эхе Москвы” и в журнале “Дилетант”, где журналистка просто захлёбывается от восторга: “Высшая награда рейха – Рыцарский крест с Дубовыми листьями, Мечами и Бриллиантами. Слава лучшего аса не только Второй мировой войны, но всех времён и народов, рекорд которого уже никогда не будет побит... “Белокурый германский рыцарь”, “чёрный дьявол Украины” Эрих “Буби” – Хартманн!” Потом умеряет свой пыл: “Можно сказать, что Эрих Хартманн был и оставался славным парнем, если забыть, чьи самолёты он сбивал. Но забывать нельзя. Если в Германии его с умилением и восторгом называли “белокурый германским рыцарем”, то в небе над нашей Малороссией он получил прозвище “чёрного дьявола Украины”, поскольку его результативность дорого нам стоила. Всего Хартманн подбил 352 самолёта – цифра фантастическая и подвергаемая сомнению. А начинал Буби – второе его прозвище за молодость, – на редкость неудачно, даже нелепо. Летать его ещё подростком учила мать, опытная лётчица-спортсменка. Пройдя обучение в знаменитой лётной школе в Гатове под Берлином, затем во 2-й Школе лётчиков-истребителей, Эрих Хартманн в возрасте всего лишь 20 лет был направлен в Geschwader-52, воевавший над Кавказом. И в третьем же воздушном бою вместо того, чтобы прикрывать ведущего, умудрился попасть в его зону обстрела, потерял ориентацию и скорость и, что называется, плюхнулся, то есть сел, выведя самолёт из строя. Кое-как добрался до аэродрома на грузовике и получил нагоняй”.

Вообще, он приземлялся, выйдя из боя, бросая машину, 14 раз (!), два раза попадал в плен, то есть по меркам советской стороны – давно мог бы

попасть под трибунал. Не стану заниматься и опровержением количества побед. Тут тоже много написано, достаточно привести пространную цитату из книги Юрия Мухина: “Все апологеты немецких асов с пеной у рта уверяют, что факт сбития немецким асом самолёта, который записан ему в лётную книжку, тщательно проверялся и подтверждался. Цитировать очень длинно, поэтому я апологетам перескажу своими словами, как “проверялся” факт сбития Хартманном 301-го самолёта. 24 августа 1944 года Хартманн слетал утречком на охоту и, прилетев, сообщил, что у него уже не 290, а 296 побед над “иванами”. Покушал и снова полетел. За этим полётом следили по радиоразговорам, и Эрих не подвёл: он по радио наговорил ещё 5 побед. Итого стало 301. Когда он сел, на аэродроме уже были цветы, флаги, гирлянда ему на шею (как у нас Стаханова из забоя встречали), а утром следующего дня его вызвал командир JG-52 и сообщил: “Поздравляю! Фюрер наградил тебя Бриллиантами”. И ни малейшего намёка на то, что кто-то пытался проверить эту байку о том, что он в один день и в двух боях сбил 11 самолётов. А в дневнике боевых действий за 24 августа штаб записал ему только “Аэрокобру”. Одну. И всё. В связи с этим у меня возникает гипотеза. То, что 352 сбитых Хартманном самолёта — это брехня, по-моему, уже всем должно быть ясно. В его лётную книжку записывали всё, что он придумает, или, в лучшем случае, те самолёты, по которым он стрелял и что было зафиксировано фотопулемётом. Но **точную** цифру сбитых самолётов немцам-то ведь надо было знать! Поэтому полагаю, что штаб JG-52 запрашивал у наземных войск подтверждения о сбитых самолётах (ведь Хартманн сбивал над своей территорией, и наземные войска могли это подтвердить). Если сбитие подтверждалось, то наземные войска могли подтвердить и тип самолёта. Тогда сбитый самолёт заносился в список, и этот список штаба JG-52 посылался в штаб люфтваффе. Но если сбития заявленного самолёта или его обломков никто не видел, то такая “победа” отсылалась только в министерство пропаганды Геббельса. Я не вижу другого логичного объяснения”.

Даже переводчик книги американских авторов “Белокурый рыцарь рейха” с говорящей фамилией А. Большой в предисловии к апологическому труду Р. Толивера и Т. Констебля написал: “Первый, совершенно парадоксальный вывод, возникающий после прочтения книги. Эрих Хартманн не провёл ПОЧТИ НИ ОДНОГО воздушного боя. Столь милую сердцу наших пилотов воздушную карусель он отрицал принципиально. Набор высоты, пикирование на цель, немедленный уход. Сбил — сбил, не сбил — неважно. Бой прекращён! Если и будет новая атака, то лишь по этому же принципу. Сам Хартманн говорит, что, по крайней мере, 80% сбитых им пилотов даже не подозревали об опасности. И уж подавно никакого мотания над полем боя, чтобы “прикрыть свои войска”. Между прочим, однажды против этого восстал и Покрышкин. “Я не могу ловить бомбы своим самолётом. Перехватывать бомберы будем на подходе к полю боя”. Перехватили, получилось. А после изобретательный пилот по шапке получил. Зато Хартманн только и занимался охотой. Так что его 800 боёв будет более справедливо назвать воздушными столкновениями, что ли”.

Нескрываемое раздражение порой сквозит в мемуарах наших лётчиков по поводу тактики немецких асов. Свободная охота — и никак ему бой не навяжешь! К тому же, повторяю, Хартманн совершил 14 вынужденных посадок. Эта фраза мелькает в книге лишь один раз. Авторы любят своего героя, поэтому не нажимают на данный факт, но всё-таки не могут его скрыть. Вот, например, бой с восемью “Мустангами”. У Хартманна кончилось горючее, и он что? — пытается спасти самолёт? Ничуть. Он только и выбирает случай, чтобы поаккуратнее выроститься с парашютом. У него не возникает даже мысли спастись самолётом. Так что на получивших по 150 попаданий (!) самолётах, не вышедших из боя, возвращались только наши лётчики. Да за одну лишь фразу-напутствие: “Оцените ситуацию и лишь после этого решайте, атаковать или нет?” — у нас Хартманн немедленно пошёл бы под трибунал. А у немцев стал лучшим асом. Так что не стоит сравнивать несравнимое. Прямо скажем, что Хартманн не был безоглядным храбрецом, но был коварным асом, опытным лётчиком с превосходным ястребиным зрением, видевший машину раньше противника, и опытным тактиком, умевшим использовать преимущество боевой машины. Например, немецкий истребитель мог летать на высоте 5–5,5 км, а “Як” — на высоте только 3–3,5 км. Вообще, из книги перед нами предстаёт взбалмошный, истеричный любитель выпить, чуждый всякой дисциплины. Но это скорее в глазах русского читателя оживляет образ...

Меня больше заинтересовал материал Владимира Чунихина, который очень часто встречается на разных сайтах и называется: “Письма Урсуле Пётч”. Там тоже очень много соображений, примеров-опровержений и сомнений в количестве сбитых самолётов, несмотря на немецкое фотооборудование: “Вот, кстати, ещё каверза фотопулемёта. Немецкий ас привозит домой плёнку, а на ней – в прицеле пять горящих самолётов одного типа. Лётчику – большую конфету за пять сбитых самолётов. А на самом деле это один упрямый “Иван” дымил, но не хотел падать. И немец пять раз заходил в атаку под разными углами.

Отличи, попробуй, на плёнке один однотипный самолёт от другого...”.

Повторяю, много точных и любопытных примеров. Единственное, чего там нет, – это как раз... писем к невесте Урсуле. Мне хотелось сравнить их с письмами моего старшего брата своей возлюбленной Ирине Старичковой, которые приведены выше, чтобы наглядно представить образы двух лётчиков – советского и фашистского. Подчёркиваю: представителя фашистской армии. Отсюда, может быть, и все рекорды именно на Восточном фронте. На Западе немцы воевали в воздухе с противником, которого они публично уважали. По крайней мере, любому здравомыслящему немцу, как на фронте, так и в тылу, должно было быть понятно, что при всём качестве немецкой техники западная лётная техника, если и уступает в чём-то немецкой, то ненамного. Подготовка лётчиков Англии, Франции, США тоже ненамного уступала немецкой (это должно было помниться ещё со времён Первой мировой войны). Поэтому потери немецких лётчиков в боях на Западе вопросов у немцев не вызывали. И руководству рейха ничего объяснять было не надо ни армии, ни обществу. На Востоке – иная ситуация. Гитлеровское государство было государством, принявшим господствующую расовую идеологию, оно было официально расистским: славяне, а уж тем более евреи, объявлялись на государственном уровне неполноценной расой. Это провозглашалось первыми лицами рейха как одна из основ и главное оправдание восточной политики германского государства. Однако с началом войны с СССР оказалось вдруг, что люфтваффе в России начало нести потери не меньшие, чем на Западе. А то и более ощутимые! Как объяснить германскому народу такие потери своей авиации от тупых “иванов”, недочеловеков, летающих на примитивных фанерных самолётах? Объяснить можно было только так, как это и объяснялось в случае с Хартманном: потеряли один – сбили десять, потеряли десять – сбили сто.

Дошло до того, что Хартманн, который фактически командовал эскадрилей, начиная с лета 1943 года, сам подписывал заполненные на себя же анкеты по сбитым самолётам.

Сплошь и рядом наши лётчики сетовали на то, что на самом деле они сбили больше, а засчитано им меньше. Тот же Покрышкин упоминал свои незасчитанные победы – больше десяти. Но, даже учитывая все мистификации, на счету лучших немецких лётчиков действительно больше побед. Значит ли это, что мастерство самого результативного нашего лётчика-истребителя – Ивана Кожедуба – (64 победы) в 5,5 раза ниже, чем у Хартманна? Ничего подобного. За время войны “белокурый рыцарь рейха” сделал 1425 боевых вылетов, тогда как Иван Никитич – всего 330. Выходит, в процентном отношении показатель у них примерно одинаков – 4–5 вылетов на одну победу. У дважды Героя Бориса Сафонова, например, на личном счету числилось 22 лично сбитых немецких самолёта. Однако у него же имелось 8 неподтверждённых побед, когда сбитые им немцы падали в море. И они ему не засчитывались. Асам люфтваффе верили на слово. И даже, что вообще анекдотично, по письмам... невесте Урсуле, как в случае с Хартманном. Об этом упоминается в разных развенчаниях, но сами-то письма с фронта, повторяю, так и не приведены.

Зато есть мемуары ещё одного великого аса Третьего рейха, pilota бомбардировщика “Ю-87” Ганса-Ульриха Руделя. Написано это было им по доброй воле и предназначено для самого широкого круга западных читателей. Итак, насладитесь и улыбнитесь: “...В конце октября (1944 года. – **А. Б.**) начинается наступление по всему этому сектору, сначала следует удар к северо-западу и северу в направлении Кечкемета. Его цель ясна: вызвать коллапс нашей линии обороны на Тиссе и ринуться вперед по равнинам к Будапешту и Дунаю. Иван очень активен в воздухе. Оказывается, что он занял целый ряд аэродромов в окрестностях Дебрецена, и мы снова вступаем в бой с численно

превосходящим нас противником. Мы ослаблены потерей ряда самолётов, сбитых зенитками, а также плохо поступающими припасами и новым пополнением, которое оставляет желать лучшего. Советы не могут поставить себе в заслугу наше затруднительное положение, они могут лишь благодарить своих западных союзников, которые серьёзно нарушили наши коммуникации в ходе атак четырёхмоторных бомбардировщиков на города и железнодорожные станции. . .”

Кто бы сомневался! А то, что мы с боями до Дебрецена дошли, а вскоре сделали его столицей освобождённой Венгрии — пустяки. . . Но дальше — вообще песня: “Во время всей этой суматохи я уже давно снизился к земле и произвёл атаку. Один танк горит. Два ФВ-190 вьются надо мной, пытаюсь отвлечь несколько Ла-5. . . Вновь один из тех, кого я обстрелял, кричит: “Оглянись — будь осторожен — ты что, не видишь? Нацист стреляет в тебя!” Он орёт так, как будто уже был сбит. Другой пилот, наверняка, командир этой части, говорит: “Мы должны атаковать его одновременно с разных сторон. Сбор над деревней, куда я сейчас направляюсь. Мы обсудим, что тут можно сделать” . . .”

Смешно: двадцать или тридцать истребителей, не зная, как подступиться к практически одинокому и беззащитному “лаптёжнику” Руделя, открывают за околицей партсобрание. Ну да, они без этого не могут. И ещё надо обратить внимание: “Для меня это самое очевидное подтверждение победы”. То есть между строк можно понять так, что Рудель ударил по колонне один раз и сразу стал уходить как можно скорее и как можно дальше. Потому что видит результаты своей работы не своими глазами, а слышит о ней со слов авианаводчика. В переводе и в шуме боя! Но этого мало: “. . . Тем временем я атакую другой танк. До сих пор они не пытались прятаться, уверенные, что надёжно защищены своими истребителями. Вновь один танк вспыхивает. Красные соколы кружат над деревней и ужасно орут, они все хотят высказаться, как лучше всего сбить мой Ю-87. Авианаводчик на земле в ярости, он угрожает, спрашивает, видят ли они, что горят уже четыре танка. . . Мы направляемся домой, Иваны какое-то время идут за нами, потом поворачивают обратно. Ещё какое-то время мы слышим укоры наземного офицера-авианаводчика и Красных соколов, которые приносят свои извинения. . .” Хохот охватывает: “Красные соколы, которые приносят свои извинения”. Вряд ли переводчик смог бы перевести эти “извинения”, а западный читатель — понять. Но западники — глотают и наших слушателей “Эха Москвы” дурят. . .

Тем более, что такие советские лётчики, как мой брат, о своих подвигах не распространялись: “Ленфронт. Апрель 1942 г. Здравствуй, дорогая мамочка! Сегодня у меня радостный день: впервые за много месяцев получил от тебя известие — целых три письма. Если бы ты знала, как я всё это время волновался за тебя: можно сказать, что сегодня ты для меня воскресла. . . Теперь я почувствовал себя счастливым.

У меня всё в порядке. За десять месяцев войны много всего было. В доказательство того, что я тоже воюю, могу сообщить тебе, что в марте получил орден Красного Знамени. Это так. . . Чтобы ты знала, что твой сын не хуже других защищает родную Россию.

Прости за краткость. Много писать разучился. Твой сын”.

Время самых тяжёлых боев начальной поры войны совпало с тяжёлыми годами испытаний для нашей семьи. Мать была разлучена с отцом и с оставшимися дома, в прифронтовой Москве, дочкой и сыном. Письма старшего сына связывали их всех друг с другом. Так получилось, что юный лётчик, чьи сверстники в наше время порой ещё только пытаются обрести самостоятельность, больше думал не о себе, ввергнутом в огонь войны, а о далёких близких. Не сам ждал поддержки, а стремился дать её другим, прежде всего, маме, находившейся в заключении. Он с передовой мог посылать ей и деньги, и посылки, и даже книги.

“Я не умею, дорогая, красиво писать о своих переживаниях, не умею выкладывать душу на бумаге, но поверь — мне невозможно привыкнуть к мысли, что ты будешь вынуждена терпеть такие лишения. . . А каково сознание невозможности помочь тебе? Помочь матери, которая сделала для меня всё, что было в её силах.

Но ничего! Помни, где бы ты ни была, какие бы огорчения ни терпела, я душой всегда с тобой. Твоё горе — моё горе, твои трудности — мои трудности.

Ещё раз прошу тебя беречь своё здоровье, больше думать о счастливом будущем. А оно будет таким!

Он воевал не за личные награды, а за это будущее, и не был многословен, когда писал о себе: *“У меня всё по-старому. Жив, здоров, бодр”*. Только несколько слов об ордене. А тот бой в самом начале войны принёс экипажу славу. Семь бомбардировщиков без истребителей прикрытия вступили в бой с двенадцатью “мессерами”. Первым принял на себя атаку экипаж ведущего — капитана Алёшина. Стрелок-радист Бобров, привязав к ноге люковый пулемёт, вёл бесприцельный обманный огонь, отпугивая гитлеровцев из-под хвостовой части, а из турельного пулемета вёл огонь прицельный. Три вражеских истребителя были уничтожены экипажем. Весь полк побывал около машины, получившей более полусотни пробоин. Только на земле заметили, что пулей раздробило Коле правую часть шлемофона. Рваные следы пуль остались и на комбинезоне.

— В счастливой сорочке ты родился, — сказали тогда ему боевые друзья.

Мутноватая фотокарточка той поры. Молодой лётчик в шлемофоне и комбинезоне у карты боевых действий. На обороте подпись: *“Дорогой мамочке, увы, о самых тяжёлых днях от горячо любящего сына”*. И снова уверен, не о своих фронтовых тяготах вспомнил он.

А вот письмо отцу, полное благодарности за дни, проведённые в лесах Подмосковья, за рассветы у чистых и рыбных тогда речек: *“У меня всё по-старому. Особых новостей нет. Только вот весна действует. Как никогда, часто вспоминаю былые времена, наши бесконечные походы. Хорошие были дни! Так хочется их повторить. Это было бы настоящим счастьем”*.

Не дождался он этих счастливых дней. Не увиделся больше ни с родными, ни с первой своей любовью... Хартманн после пленения и лагерей на Вологодчине (вот оттуда деловые письма Урсуле — есть) прожил 71 год, а мой брат погиб в 21 год... Тоже вроде — ни малейшего сходства. Никакие параллели, кроме даты рождения 19 апреля, тут не подходят. Ни по судьбе, ни по отношению к жизни, ни в военном отношении, даже если бы речь шла о лётчиках, летавших на самолётах одного типа. У нас истребители были заточены на победу в ВОЙНЕ и потому занимались охраной наших штурмовиков и ББ или перехватом немецких. Свободная охота появилась с 43-го года, не всегда и не для всех. Немцы же были заточены на победу ИНДИВИДУАЛЬНУЮ. Потому у них ЛИЧНЫЕ счета больше наших были по определению. Образно говоря, если бы наши ВВС состояли из одних Покрышкиных и Бобровых, война завершилась бы победой раньше; если бы немецкие люфтваффе состояли из одних Хартманнов и Руделей, наша победа пришла бы ещё раньше. И вообще, сколько бы книг о немецких асах и героях ни выкинули на российский рынок, главную-то истину не опровергнешь: май 1945-го объяснил, кто лучше воевал и победил в ВОЙНЕ. Как написал поэт из Тосно Николай Рачков про День Победы:

*Никак не переварят
нашу славу,
Вбивают в наш салют
за клином клин.
Зачем не сразу
взяли мы Варшаву?
Зачем поторопились
взять Берлин?
Да можно ль перечислить
поимённо
Всех, кто легли
под братские холмы?!
А мы целуем красные знамёна.
Враг был сильней,
Но победили мы.*

Кто-то сомневается? Поезжайте в Берлин — там, даже в бундестаге, наглядные следы нашей Победы, за которую пал мой старший брат Николай Бобров.

О ЧЁМ ШУМЯТ СОСНЫ...

Возле валунов от фундамента углового дома бывшей деревни Бобровка растёт молодая сосна. Ей лет сорок — она выросла на освободившемся пространстве, когда селение начало исчезать с лица земли. В январе 1949 года, когда русские переселенцы стали обживать обожжённые боями земли, постановлением Верховного Совета СССР нескольким населённым пунктам были даны имена советских лётчиков-Героев, деревню Пурпуа переименовали в честь брата. Когда много лет назад я нашёл этот пожелтевший документ в архиве родителей, поехал в Приозёрский район, чтобы найти деревню, названную в честь нашей фамилии, но уже работала вредительская программа по уничтожению малых деревень. Местные журналисты показали мне только остатки фундамента с маленькой сосенкой у валуна. Через несколько лет мы поехали с сыном на Вуоксу и озеро Суходольское, и — о, чудо! — натолкнулись на указатель... Бобровка. Оказывается, лесник Январёв поселился здесь, используя старую постройку, обустроил хутор и возродил это название. Теперь, при продаже земли и росте престижных дачных посёлков, оно снова исчезло: урочище Бобровка приписали к соседнему поселению Портовое, чтобы продавать участки в 10 соток по 2 200 000 рублей. Только сами участки! Нужна этим богачам какая-то Бобровка? Но сердце у меня не на месте, решил снова поехать...

Вот что написала журналистка всеволжской газеты Людмила Однобокова: “Дозвонилась я сегодня до администрации Громовского сельского поселения. Новости печальные. Сказали мне честно, что деревня Бобровка существует только в памяти людей. Разговаривали со мной очень любезно. Объяснили так: в сторону деревни Портовое по дороге прямо на повороте есть два дома: один — дом лесника, второй — новый финский дом. Вот это место в народе называют “деревня Бобровка”. На карте обозначено только “урочище Бобровка”. Но урочище для того и называют “урочище”, что это место утраченной деревни. И названия урочищ тоже быстро исчезают. Рядом с урочищем “Бобровка” недавно возник коттеджный посёлок, но назвали его почему-то “Коттеджный посёлок Суходольский”, а не “Коттеджный посёлок Бобровка”, как должны были. Новые сотрудники администрации не знают, что Бобровка когда-то была названа в честь Героя Советского Союза. Возможно, документы о наименовании этой деревни утрачены. Потому что там рядом есть деревня Севастьяново в честь Героя Советского Союза Севастьянова, в той деревне недавно даже памятник небольшой Севастьянову поставили. Про Бобровку думают, что она так названа в честь того, что здесь когда-то жило много бобров”.

Трижды минувшим летом съездил в Питер, в Лемболово, в Бобровку. Порой кажется, что вся официозная патриотическая риторика — болтовня! Зачем эти новгородские земли освобождали наши ребята-Герои? Чтобы нувориши особняки возводили? Совхоз в соседнем Портовом загублен, рейсовый автобус, на котором мы разъезжали с сыном, теперь не ходит. Почему? У финнов была обустроенная земля, ягодники (для них это — юг!), а у нас — заборы на берегу с нарушением закона. А ведь это на земле Путина и Медведева — наших записных патриотов... Никто не знает, в честь кого Бобровка, даже живущий здесь хозяин — Геннадий Степанович Корчагин, у которого в паспорте регистрация — “Кордон Бобровка”...

Поэт-фронтовик Александр Межиров, помню, как-то стал мне рассказывать про меняющийся образ бывшего врага: “Представляете, Саша, меня на днях пригласили в ресторан “Националь”. Публика снобистская, все младше меня — просто не о чем говорить, даже со спутниками. И вдруг я увидел недалеко за столом седого немца, примерно моего возраста. Сразу почувствовал: он тоже воевал, и вдруг остро понял, что во всём зале только он до конца бы меня и понял в разговоре. Он, может, стрелял в меня, а ближе — никого нет. И он тоже это почувствовал, судя по взгляду...” Я тогда по молодости подумал: любит Александр Петрович вот этак нагнетать и фантазировать... Прошли годы перестройки и катастрофы, и я вдруг вспомнил эту тираду, когда встретился впервые с финским писателем Карлом Геустом. Его отец воевал против моего старшего брата, мы славим подвиги лётчиков-врагов, но мы поняли друг друга с первых минут общения у музея Маннергейма в Хельсинки...

И вот — новая встреча в Лаанперанте, хотя Карл — автор многих книг о финских лётчиках — часто приезжает в Питер и Петрозаводск, выступает на

конференциях и радуется, что теперь мы можем говорить открыто, без искажений о трагических страницах общей истории. Именно он раздобыл в архиве донесения зенитной батареи, которая подбила машину брата, и противотанковой батареи, когда самолёт СБ-2 совершил огненный таран на финские позиции. Он – мой соратник, хотя является певцом финских асов. Познакомил с такими же увлечёнными друзьями в Лаанперанте. Киммо Мархинен – директор авиационного музея на общественных началах. Его дядя был подбит в небе над Лемболово, упал между линиями передовых, но финны успели первыми. Потерял руку в том году, когда погиб мой брат. Маркку Оикконен – увлечённый экскурсовод. Его отец воевал в пехоте и был ранен как раз на Лемболовской твердыне. Они хранят память о своих родных, обо всех ветеранах, включая советских лётчиков, и прекрасно понимают, что привело меня в Лаанперанту, что зовёт на место гибели брата и что печалит при формальном подходе чиновников. Например, председатель Громовского сельского поселения А.П. Кутузов не против установки стенда с указанием: “Здесь была деревня Бобровка, названная в честь...”. Но спрашивает: “За чей счёт банкет?” Будто это мне одному нужно. А тем, кто захапал берега озёр, которые отвоевали наши ребята? А школьникам Громово, которые не знают истории под их же носом? Кто защищать вас будет, чиновники и толстосумы, если чего? Одни путинские свержакрыты?

СОСНА У СЕЛЕНЬЯ БОБРОВКА

*Ветрам подпеваает негромко,
Где тает Вуокса во мгле,
Сосна у селенья Бобровка
На финской когда-то земле.
И озеро — в прошлом Суванто, —
Деревня на нём — Пурпуа —
Хранила фамилию брата,
А ныне ушла в никуда...
Но время не мчится линейно —
Петляет, как русло реки, —
От дотов лесных
Маннергейма
До питерской странной доски.
Так что же, в забвеньи уроним
Шеренгу заветных имён,
И память об асе-Герое,
И шелест победных знамён?
Порой эти думы несносны...
Горит самолёт вдалеке,
Где самые старые сосны
На финском шумят языке...*

КРУГ ЗАМКНУЛСЯ В ЛЕСУ

После моих очерков в газете и книги “Звезда над озёрами. О старшем брате – Герое Советского Союза Николае Боброве”, в которой я лишь на последних страницах коснулся находки отряда “Безымянный” в Мустоловском урочище и всей эпопеи доказательства принадлежности останков героическому экипажу, я поставил себе цель посетить место падения СБ-2. Дождались с сыном осенней прохлады и тронулись в путь. Ещё на лесной дороге за разрушенным мостиком, где пришлось оставить машину, Дима спросил у Германа Сакса, как часто устанавливается личность погибшего солдата? Командир отряда “Безымянный” отчеканил:

– На местах советско-финской войны – один из ста, Великой Отечественной – один из десяти. У врагов – пятьдесят на пятьдесят: медальоны, именные вещи, антропологические данные на всех солдат. А у нас не было этого. Нашли, помню, одного бойца из расчёта артиллерийского – гигантского роста. Сначала подумал на останки, что это кости лося. Нет, такой вот великан воевал и нигде не зафиксирован, а то бы весь расчёт идентифицировали. . .

Тогда я спросил, как Герман Юрьевич, тратящий на нас свой чиновничий выходной, увлёкся поисковой работой.

— Это в детстве началось. Мы играли с ребятами в Тосно в большие металлические солдатки, расстреливали их камнями на песке. А меня, как самого младшего, посылали потом искать и откапывать — какой-то азарт поисковый просыпался. Потом попал в детский лагерь на местах боёв — траншеи, блиндажи, а никто ничего не знает, даже взрослые: “Была какая-то Финская зимняя война”. Заинтересовался, сам стал книжки покупать: на завтраки деньги давали, а я в магазин старой книги бежал. Потом старшие товарищи в поисковый отряд пригласили, научили методике поисков погибших, работе с картами и документами. Ну, а когда сам первого солдатика нашего нашёл — всё другим смыслом наполнилось, не только азартным. В 1995 году купил старый “Москвич” и уже сам с отрядом “Безымянный” стал ездить. Вокруг Ладоги по местам боёв, Свирский плацдарм — до Карелии, особенно люблю Лоухи, где есть нетронутые участки, где читается прямо книга сражений. Нашли одно место: вот немецкая разведка спрятала парашюты и банки от консервов под корни, вот наш разведчик их обнаружил, сбросил ремень с подсумком и гранатами, чтоб не гремели. Но был обнаружен, отстреливался на бегу, верером, и был сражён в движении — так и остался лежать скелет... Конечно, таких мест всё меньше, а в Ленинградской области — сплошное коттеджное строительство, прямо на местах боёв, до обследования. С 1 октября должен выйти закон, запрещающий такие действия, и чиновники торопятся, продают, нарезают без согласования.

Словно подтверждение этих слов — сама дорога к месту падения самолёта. Мы заплутали, потому что огромный ельник с вековыми деревьями, к которому и прижималась дорога вдоль бывших финских полей, начисто сведён под огромный дачный посёлок. Просто — гигантские размеры уничтоженного леса, даже мысль преследует: неужели мегаполису не нужны лёгкие? Неужели надо сводить нетронутый лес вместо поиска никчёмных участков? Ну, и дорогу таджики строят с грандиозной техникой, отсыпают песчаную подушку в пробитом тоннеле с корневщиками по краям. Весь ландшафт перевернут, и Герман даже малость растерялся: неужели и место падения закатали? Побежал по опушке будущего дачного рая, вышел к речке Муратовке и вдоль неё по рельефу и финским траншеям отыскал нужную укромную тропинку. Осталось, значит, глухое место падения. Я даже не ожидал, что так явственно осталось... Мы промокли насквозь, наломали ноги по изуродованному лесу и просекам, но усталость только на фото осталась. А в душе — всё перевернулось!

Столько лет прошло, а вся трагическая повесть читается на нетронутой местности в заросшей глуши: вытянутое место падения, где до сих пор не растёт выжженный лес, коридор, оставленный падавшей машиной с вываливающимися из пламени моторами — она накрыла страшным огненным тараном позиции врага. Один мотор был разбит прямым попаданием мощного зенитного орудия (сфотографировал в музее в Лаанперанте), горел и оплавился, второй, более тяжёлый, ушёл в землю метра на четыре. Ребята-поисковики долго копали, потом лебёдкой поднимали, на “газике” вывозили, наводя мосты через ручьи и колдобины. Теперь этот мотор — в экспозиции Военного музея в Выборге... Явственно пролегли остатки финской траншеи, которую проложили прямо по яме падения, чтобы меньше копать. Ведь это — передовая: всего 300 м не дотянул бомбардировщик до своих в июле 1942 года, а ровно через два года, в июле 1944-го, наши войска начали наступать на эти позиции: до неудачного штурма бомбили, обрабатывали артиллерией, сами финны топтались и воевали над останками лётчиков и машины. И столько всё-таки осталось находок... Испорченный пулемёт брата и три парашютных кольца (даже не соби-рались выбрасываться в плен из подбитой машины), три пары подмётков (у нас почему-то антропологически измерения экипажа не делали, а то бы не было вопросов по принадлежности) и даже финка с наборной ручкой. Ну, и останки — косточки, которые остались в одном сапоге и в складках искорёженного алюминия. Брат был в хвосте, при страшном падении хвост улетел вперёд (“Вон до той ёлки”, — сказал Герман обыденно). А какие чувства я мог испытывать, подойдя по папоротнику к этой ели?..

Я был как-то убеждён, что на самолёт вышел по финским документам, по донесению двух подразделений — зенитной батарее, которая подбила СБ-2 (перевод донесения из Центрального финского архива у меня есть), и того

подразделения на передовой, куда экипаж направил горящую машину. Оказывается, нет, совершенно случайно: “Мы уже заканчивали здесь копать, — говорит Герман, — и вдруг на подходе к траншее, в глухомани, я почти споткнулся о часть кресла пилота — из земли торчала. Начали обследовать, нашли финскую помойку с остатками поделок из алюминия, стали методично прозванивать и поняли: это останки рухнувшего самолёта. Долго и тщательно работали. Есть фото, сколько вещей, косточек и деталей нашли”. Вот такое чудо... Какой путь я совершил в течение жизни! Меня мама привезла в Ленинград ещё до школы. Тогда вообще ей не сообщали, в каком районе погиб старший сын. Она, помню, спустилась по гранитным ступеням к Неве, зачерпнула слегка пахнущую мазутом воду и сказала: “Где-то здесь Коля покоится”. Оказалось, далеко не здесь... Потом, к 20-летию Победы, открыли данные: близ станции Лемболово, где и был возведён памятник героическому экипажу. Маму с батей, старшей сестрой и братом пригласили на открытие, а меня дуболомы — армейские начальники — не пустили из части. Вот как губили истинную патриотическую, а не формальную работу! Ну, и с тех пор езжу в Лемболово, в исчезнувшую Бобровку, пишу о брате, о войне на Карельском перешейке, но давно был уверен: в Финляндии надо искать следы точного места гибели экипажа. Однако русская судьба натолкнула Германа Сакса с поисковиками отряда “Безымянный” на слепое место. Финские документы, усилия Баира Иринчеева из Выборга, помощь финского писателя Карла Геуста только помогали нам установить достоверность и подтвердить гибель именно этого экипажа: по горькой иронии пропали все документы, даже на найденный мотор с номером! 44-й полк отправил бумаги на списание самолётов и моторов, но оформил что-то не так, командование Ленфронта вернуло документы, переделять уже времени не было — полк был отправлен на переформировку, переучивание пилотов на Пе-2. Так что экипаж брата погиб в одном из последних вылетов: может, вообще бомбы оставались и решили бомбить мост без последующего особенного наступления. Что теперь рассуждать и сетовать... Главное, что скорбный круг замкнулся, и 4 ноября предполагается торжественно захоронить останки экипажа Алёшина-Гончарука-Боброва у памятника федерального значения из серого карельского гранита...

Неутомимая Людмила Однобокова — журналистка-подвижница из Всевожска, которая вместе со мной бьётся над возрождением названия деревни Бобровка, — написала мне в ответ на присланные фотографии: “Какая глушь! Не жутковато было? А мы спасли от застройки воинское кладбище в Углово. Теперь готовимся к церемонии захоронения 4 ноября в Лемболово. Там даже соседний пионерский лагерь подключился, о котором Вы всё время говорили: не используют такую возможность... В лагере сменилась директор, новая руководительница лагеря жаждет вносить свой вклад в увековечение памяти экипажа Алёшина. Я всю работу над книгой “Самолёт летел на Смольный”. Новую концепцию уже выработала, дело идёт. В общем, всё хорошо...”

Да, вот как немного разумного надо патриотам: кладбище спасли офицеров-лётчиков, директор соседнего лагеря отдыха понял, что надо не только развлекать, но и вести воспитательную работу с ребятами, — “всё хорошо”...

Что за страну построили? Какую идеологию навязываем? С чем в трудное завтра пойдём? Но мой брат и в более страшных условиях не сдавался...

* * *

*...Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностью: были.*

Василий Жуковский

*Январские прозрачайшие выси —
И звёзды так близки и небеса,
Что будоражат дух чужие мысли,
Тревожат слух родные голоса.*

*Они идут из бездны мирозданья,
И гулкий воздух проводимей стал,*

*Иначе как дошли воспоминанья
О том, чего я сам не испытал?*

*Мне чудится оброненное слово
В звенящей напряжённно тишине
И стук щитов у поля Куликова,
И на снегу — чадящий танк Орлова,
И брата самолёт в слепом огне.*

*И лампы Достоевского свеченье,
Который даже в мыслях смерть отверг,
Чтоб записать: “Какое ждёт паденье
Всех, кто признал, что смертен человек”...*

*Я вышел в ночь, где снег мерцал лучисто,
Спала земля — основа всех основ,
И небо над отчизной было чисто,
Как помыслы вернейших из сынов.*

*Они страдали, мучились, любили,
Превыше жизни ставя долг и честь.
Так что ж — промолвить благодарно: были?
Нет, свод небес иную шлёт мне весть:
Есть!*